

# ЧЕРКЕСИЯ – СУДЬБА ПРОМЕТЕЯ

## Изгнание черкесов в «Воспоминаниях» Льва Тихомирова

*«Нельзя допустить, чтобы ужасы прошлого были преданы забвению. ...То, что произошло, – предупреждение. Забыть – значит принять на себя вину. Надо все время напоминать о прошлом. Оно было, оказалось возможным, и эта возможность остается. Лишь знание способно предотвратить ее.*

*Опасность здесь в нежелании знать, в стремлении забыть и в неверии, что все это действительно происходило (ведь по сей день есть люди, которые отрицают реальность концентрационных лагерей); затем в готовности послушно творить зло в качестве звена некоего механизма и, наконец, в равнодушии, которое спокойно замыкается на требованиях дня, на повседневности; опасность и в пассивности бессилия, в покорности перед якобы неизбежным».*

*Карл Ясперс. Смысл и назначение истории.*

Проблемой наших современных кросс-культурных коммуникаций является неизживание тяжелейшего наследия Кавказской войны на Северо-Западном Кавказе. В советское время это было невозможно из-за тотального идеологического давления. В постсоветское время любые попытки внеидеологического осмысления, опирающегося исключительно на исторические источники, продолжают вызывать резкое неприятие. Весьма символично, что официальные исторические круги стали предпринимать первые попытки осмысления того, что произошло с черкесским народом в финальной части Кавказской войны только по указке сверху. А таковые указания воспринимали только из-за широкого международного обсуждения исторической судьбы черкесов на фоне сочинской олимпиады, сирийского кризиса и обострения российско-грузинских отношений.

Все это воочью показывает нам, насколько политизированной остается сфера исторических исследований в нашей стране, несмотря на почти четверть века «демократического» развития.

В последней трети XIX в. и в начале XX в. совершенно подавляющим оставался бравадный и шовинистический подход, в рамках которого было невозможно приблизиться к гуманистической оценке черкесской трагедии.

Но тем ценнее для нас наследие тех немногих интеллектуалов дореволюционной поры, которые задумывались и открыто обсуждали эту, наверное, самую табуированную тему в истории завоевания Кавказа.

В 1899 г. знатный турист граф С. Д. Шереметев писал: «Когда процветала в горах «Черкесская культура», и не было конца плодовым садам у горцев. Теперь они заглохли и одичали. Как ни странно звучит «Черкесская культура», но с нею нужно считаться и перед нею мы неправы».

Это признание тем более ценно, что сделано представителем высшей русской аристократии, вхожим в императорское семейство. Свой путевой очерк граф не мог не вручить Николаю II, великим князьям. Поэтому более развернутые наблюдения Шереметева посчитал неуместными: «Многое можно сказать по поводу нашей неправоты, но это

поведет далеко». (Шереметев С. Д. Кавказ. Вып. II: Черноморское побережье. Июнь 1899. СПб., 1900. С. 27-28).

Л. В. Македонов, по поручению начальника Кубанской области исследовавший социально-экономическое состояние станиц северного склона, не смог не выразить своего отношения к судьбе черкесского населения:

«Помимо простых требований социальной справедливости, помимо участия к судьбе современного населения края, нам должна быть дорога его будущая культура, как историческое оправдание потоков крови, которые были здесь пролиты. Только культурным развитием края можно загладить ряд исторических ошибок, благодаря которым мы сначала оттолкнули родственное нам по религии население (автор имеет в виду очень значительные пережитки христианства, органично переплетенные с языческими верованиями. – Прим. С.Х.), допустили на своих глазах обратить его в мусульманство и фанатически вооружить против нас, а потом десятки лет с ним воевали и закончили почти полным истреблением этого населения и уничтожением созданной им культуры. Картина выселения горцев, описанная А. Берге, восстанавливает пред нами эту жуткую гекатому целого народа: сожженные жилища, уничтоженные посевы, убитый скот и пристреленные самими владельцами табуны любимых лошадей, наконец, — вымершие почти поголовно женщины и дети полумиллионного населения... А сколько здесь положено русских костей за долгое время войны, сколько пролито казачьей крови, сколько вымерло и погибло почти поголовно казачьих семей при заселении края, — едва ли кто считал! И эти колоссальные жертвы могут быть оправданы только высшей культурой края, вновь заселенного, богатством и привольной жизнью новых его обитателей...». (Македонов Л. В. В горах Кубанского края. Быт и хозяйство жителей нагорной полосы Кубанской области. Воронеж,

1908. С. 204).

О таком же компенсировании вины перед цивилизацией, но не перед людьми, читаем у И. Н. Клингена, ученого-патриота, глубоко переживающего за судьбу русского населения на Кавказе. Он был не в состоянии вырваться за рамки клише высокого морального долга своей страны, призванной самой Историей на Кавказ с миссией привнесения европейской культуры и цивилизации. При этом он исключительно честно писал о масштабной драме гибели черкесской культуры:

«Исчезли горцы, но вместе с ними исчезло их знание местных условий, их опытность, та народная мудрость, которая у беднейших народов составляет лучшее сокровище и которую не должен брезгать даже самый культурный европеец. Горцы прекрасно умели возделывать зерновые растения, всякого рода орехи, хурму, яблоки, груши, винную ягоду и, несмотря на закон, угощали европейцев прекрасным вином. На

юго-востоке занимались они хлопком, особый вид лебеды служил им для добывания селитры, а душистый мед тысячами пудов шел за границу. Их защитные насаждения вдоль рек, живые изгороди, лесные опушки кругом полей, древесные группы для затенения, воздушные силосы из листьев и ветвей — все вызывает одобрение агрономов. Веками выработанная система гигиенического режима для предупреждения от лихорадки, особенно выбор мест для жилища, пользование водой, распределение работ по времени дня и по времени года в зависимости от вертикального профиля местности — все возбуждает удивление среди гигиенистов... Удалив из страны черкесов в силу общих государственных соображений, мы взяли на себя тяжелый нравственный долг удовлетворить цивилизацию за утраченные силы и за погибшую культуру, которая копилась 3000 лет, а погибла в 30 лет под напором чудовищно-творческой силы природы, уже несдерживаемой опытной и сильной рукой аборигена. Шестьдесят лет употребила русская армия для того, чтобы ценой невероятных страданий, усилиями неслыханного героизма, завоевать нам эту страну. Сотни миллионов рублей затрачены, сотни тысяч жизней загублены, а теперь эту страну снова нужно брать с бою, как в то первобытное время, когда еще в ней не было человека. Как тогда, так

и теперь, от горных ледников до самого моря, властно и громко звучит песня торжествующей природы, в конце заглушая жалкий лепет жалкой колонизации. Бессильны здесь меч и огонь, и не спасут здесь никакие беспочвенные проекты, потому что погибли навсегда старые традиции и почти без следа исчезла старая культура». (Клингген И. Н. Основы хозяйства в Сочинском округе. СПб., 1897. С. 2-3).

Современный интеллектуал и строгий православный моралист Максим Шевченко в своей последней публикации на эту тему затрагивает вопрос о том, каким образом оправдывалась жесткая политика в отношении черкесов в XIX веке и то, как эти старые оправдания продолжают влиять на психологию высшего истеблишмента и населения в наши дни. Вся эта, быть может, достаточно сложная и изменяющаяся от века к веку мотивация сводится к словосочетанию «государственная необходимость»:

«Главная проблема России остается прежней – государственная необходимость, понимаемая и принимаемая к действию на основании записки или проекта небольшой группы приближенных к вершине власти людей. Необходимость, которая всегда почему-то становится ледяной и беспощадной. А люди, как те, в отношении которых эта необходимость должна быть применена (подобно несчастным черкесам), так и те, которые видят иные, более человеческие способы ее применения, — остаются за бортом политики, на страницах своих горестных мемуаров и не пошедших в дело экспертных проектов и предложений». (Шевченко М. Кавказ без кавказцев // Дилетант. 2012. № 10 (октябрь). С. 9).

М. Шевченко обращает наше внимание на доселе крайне редко упоминавшийся источник – мемуары Льва Александровича Тихомирова, выдающегося русского мыслителя, очевидца и исследователя черкесской катастрофы. Его крайне важное для понимания исторической судьбы России интеллектуальное наследие – в виде статей, воспоминаний, обширных дневниковых записей – стало доступным благодаря труду ряда современных историков – в первую очередь, М. Б. Смолина.

Предлагаем вниманию читателей отрывок из воспоминаний Тихомирова.

«Изгнание черкесов с Западного Кавказа началось, когда мы еще были в Темрюке, вслед за покорением Восточного Кавказа. События, касающиеся Шамиля, Дагестана и т.д., я знаю почти исключительно по литературным источникам. Но что касается Западного Кавказа, я, можно сказать, лично пережил эту страшную историческую трагедию, подобную которой едва ли знал мир даже в эпоху великого переселения народов. Я



довольно хорошо знаю и литературу этого предмета. Я знаком немножко даже с архивными данными, ее касающимися, потому что в 1887 году собирался писать историю русского завоевания моей родины и по этому поводу входил в сношение с известным екатеринодарским исследователем Фелициным, имел архивные документы Новороссийского округа благодаря любезности тогдашнего начальника войскового старшины Соколова.

Собранные мной материалы, статистические таблицы, выписки, начерченные мною планы и карты – все это погубило вместе со множеством других моих бумаг во время нашей революции. Но помимо этих литературных и архивных данных, я знаю историю выселения западнокавказских горцев по рассказам участников этого дела; и наконец выселение прошло перед моими глазами.

Мне тогда было десять-двенадцать лет, но я был мальчиком преждевременно развитым, а рассказы участников событий слышал в разное время вплоть до 1887 года. Таким образом, я могу говорить о всей этой истории очень уверенным голосом, и если даже что-либо позабыл или перепутал, то в общем мое свидетельство имеет известную документальную ценность.

Это предисловие я делаю потому, что мой рассказ не вполне сходен с тем, что мы имеем в литературе предмета, и я, зная эту разницу, не отказываюсь от своих слов и готов был бы их отстаивать даже перед исследователями-специалистами.

Как уже упоминалось раньше, князь Барятинский после покорения Восточного Кавказа созвал в 1860 году во Владикавказе совещание для установки плана покорения Западного Кавказа.

На совещании было выдвинуто два плана. Генерал Филипсон полагал, показав черкесам русскую мощь военными мерами, привлечь их сердца к России мерами гуманными, выражая уверенность, что мы можем завоевать их культурно. Это, разумеется, совершенная фантазия.

С одной стороны, под властью России черкесы не могли бы сохранить той степени благосостояния, какой достигли собственными силами. С дру-

**Лев Александрович Тихомиров (19 (31) января 1852, Геленджик — 16 октября 1923, Сергиев Посад) — русский общественный деятель, в молодости — народоволец, будучи в эмиграции, издавал вместе с П. Л. Лавровым «Вестник Народной воли».**

**В 1888 г. отрелся от революционных убеждений, открыто выступив против прежних идей в предисловии ко второму изданию книги «La Russie politique et sociale» (1888). В целом книга принадлежала к литературе, запрещенной в России, но в предисловии доказывалось, что революция немислима в России и что людям прогрессивного образа мыслей необходимо стремиться к мирной эволюции. Тихомиров просил помилования и был помилован Высочайшим повелением от 10 ноября 1888 г. и смог вернуться в Россию.**

**Брошюра (изданная по-русски и по-французски) «Почему я перестал быть революционером» (1888; 2 изд., М., 1896) сделала возможным возвращение Тихомирова в Россию. Прибыв в Петербург, бывший революционер отправился в Петропавловский собор поклониться праху царя Александра II, против которого боролся. Тихомиров становится деятельным сотрудником «Московских ведомостей» и «Русского обозрения». Важнейшие статьи, появившиеся в этих органах, Тихомиров переиздал в ряде брошюр и книжек. В 1903 – 1906 гг. работает над исследованием «Монархическая государственность».**

(См. статью «Тихомиров, Лев Александрович» в Википедии).



гой стороны, мы ничем не могли искоренить в них привычек хищничества в отношении соседних народов.

В-третьих, западные черкесы, адыге, жили независимой жизнью больше веков, чем сколько существует сама Россия. Еще древние греки знают «черкесов», т.е. черкесов-адыге, и если за истекшие с тех пор тысячелетия черкесы испытали несколько завоеваний, то совершенно поверхностных, не уничтоживших их фактической независимости; и сверх того, они за долгие века привыкли видеть, что их завоеватели скоро исчезают, а они, черкесы, остаются по-прежнему владельцами своей родины и живут как хотят, и устраиваются, как им лучше нравится.

Глубокие перевороты бывали и у них, а именно у шапсугов, которые низвергли у себя князей и развили до последних выводов демократической строй. Но это сделали они сами. Чужого же владычества черкесы над собой не захотели бы признать, даже хотя бы турецкого, несмотря на то, что султан имеет для них священное значение религиозного владыки.

Что касается России, она могла бы держать их под своей властью только при страшном гнете военной силы, то есть при таком условии, когда черкесы не могли бы ни жить в довольстве, ни чувствовать себя счастливыми.

План Евдокимова был совсем иной. С черкесами ужиться нельзя, привязать их к себе ничем нельзя, оставить их в покое тоже нельзя, потому что это грозит безопасности России, разумеется, не вследствие пустяч-

ного хищничества абреков, а вследствие того, что западные державы и Турция могли бы найти в случае войны могущественную опору в горском населении. Отсюда следовал вывод, что черкесов, для блага России, нужно совсем уничтожить. Как совершить это уничтожение? Самое практичное – посредством изгнания их в Турцию и занятия их земель русским населением.

Этот план, похожий на убийство одним народом другого, представлял нечто величественное в своей жестокости и презрении к человеческому праву.

Он мог родиться только в душе человека, как Евдокимов. Это был сын крестьянина, взятый в рекруты по набору и дослужившегося до какого-то маленького офицерского чина – уж конечно не благодушием, а силой воли, энергией, суровостью. У Николая Ивановича Евдокимова текла в жилах кровь мужика, энергичного и чуждого жалости, когда дело касается его интересов. Имея огромный практический ум, несокрушимую энергию, свободный от всякой чувствительности, совершенно необразованный, только грамотный, он спокойно взвесил отношения русских и черкесов и принял свое решение в плане «умиротворения» посредством «кистреления».

Этот план нашел полный отклик в душе князя Барятинского, потомка создателей Руси, готовых все ломать и крушить во имя своего дела и столетия назад выработавших афоризм: «Где рубят лес, там щепки летят».

Давно, с 1835 года, зная кавказских горцев, в боях с которыми получил несколько ран и

заслужил репутацию честного и бесстрашного воина, князь Барятинский, без сомнения, имел честолюбие, которое рисовало ему славу преемника Ермолова и Воронцова, превзошедшего обоих величием своих дел. Не было еще человека, способного покорить горцев, но князь Барятинский будет таким человеком. И он действительно завоевал восточных горцев. Оставались западные, с которыми сладить было еще труднее.

В Дагестане можно было совершить завоевание без уничтожения противника, и князь Барятинский охотно оставил лезгинам существование, явился покорителем, но не истребителем.

Относительно адыгейских народов он ясно понял, что Евдокимов говорит дело: что тут либо мы, либо они, а вместе мы жить не можем, – и бестрепетно решил: если так, то пусть они погибнут, а мы останемся жить на их месте.

Я ничуть не думаю, что князь Барятинский подписывал этот смертный приговор целому народу с таким уж легким сердцем, как Евдокимов. Нет, конечно, это ему было тяжело. Он был аристократ, образованный, культурный, даже утонченно цивилизованный, понимавший роскошь и все тонкости благ земных, дамский кавалер и рыцарь. Воевать, побеждать, завоевывать, властвовать – это была его сфера.

Но истребить целый народ – это уже деяние «сверхчеловека», деяние, перед которым могут дрогнуть и Кромвель, и Наполеон. Но так как иначе нельзя поступить, чтобы свершить свое дело и заплести до конца венки своей славы завоевателя Северного Кавказа, то Барятинский решил: быть посему. Евдокимову, конечно, не приходилось переживать никаких мучительных ощущений. Ему не предстояло делать усилия сверхчеловека, а скорее наоборот – в нем говорила спокойная решимость человека со слабо развитым чувством гуманности и правосознания. Но при всей противоположности натур аристократический князь и сын человека из народа сошлись на хладнокровном понимании вещей и одинаковой решимости все принести в жертву величия России.

Однако, при всей широте полномочий князя Барятинского, требовалось получить разрешение от Императора. Александр Второй, воспитанник Жуковского, был очень чувствителен. Крутые меры были всегда

не по нем, а тут предстояло нечто такое, по поводу чего вся Европа могла закричать о бесчеловечии и варварстве. В нем жил тот же «петербургский» дух, что и в генерале Филипсоне. В довершение всего князь Барятинский уже в 1861 году стал хворать, надломилась его сила, так что уже в 1862 году он уже официально оставил наместничество и совсем уехал с Кавказа. Остальную часть жизни он провел за границей, где и умер.

Честь завоевателя Западного Кавказа досталась не ему. Его заслуга в этом деле состоит только в том, что он выдвинул вперед Евдокимова и своим именем санкционировал его планы. Но личным воздействием на Императора поддерживать их он уже не мог. А планы хотя и были в принципе приняты Александром Вторым, но в практическом исполнении всегда могли быть до неузнаваемости переиначены. И вот Евдокимову пришлось пустить в ход свои дипломатические таланты, оказавшиеся очень крупными.

По его плану, изгнание горцев должно было идти одновременно с переселением казаков на их место. Но как же их переселить? Генерал Филипсон, так деликатно относившийся к горцам, не считал нужным стесняться с русскими, и по его проекту решено было переселять казаков целыми полками, частью с Линейного войска, частью с Черноморского. Но в обоих войсках вспыхнул открытый бунт. Когда в Хоперский полк послана была воинская команда для побуждения бунтующих переселенцев, казаки выстроились правильными воинскими частями против присланного отряда, и между обоими враждующими сторонами ежеминутно готова была разразиться кровавая схватка. В Черноморье был заявлен такой же решительный протест. Казаки громко кричали, что будут силой сопротивляться переселению. В Екатеринодаре тогда должность войскового атамана исправлял, кажется, генерал Кусаков. Он хотел убежать из бунтующего города, но казаки, узнав о его отъезде, погнались за ним и ворвали силой. «Вы наш атаман и должны быть вместе с нами, вместе отстаивать казачьи интересы», – кричали они. Черноморское так называемое дворянство, то есть попросту казачьи офицеры, «паны», составили протест, в котором заявляли, что приказ о переселении наруша-





ет данные казачеству грамоты Екатерины Второй, и подали его Кусакову для передачи Евдокимову. Казаки насильственными мерами давили на всех несогласных с ними. Генерал Яков Кухаренко, кровный, заслуженный казак, до сего весьма популярный, подал в Петербурге голос за проект Филипсона, и войско его за это возненавидело.

Вскорости они ему жестоко отомстили. Когда он ехал в Ставрополь, они дали знать черкесам, будто бы проезжать будет генерал Бабиц, которого горцы старались убить за разорение их земли. Поэтому черкесы устроили засаду и бросились на карету Кухаренко, думая, что это ненавидимый ими Бабиц. Казачий же конвой моментально разбежался.

Выданный таким образом в руки врагов, Кухаренко сначала храбро отбивался шашкой, но, конечно, скоро упал израненный, и черкесы потащили его на аркане в свои аулы. Когда они узнали, что их пленник не Бабиц, они готовы были отдать его за выкуп, но он не пережил ран и аркана и через несколько дней умер в плену. А казаки, сверх того, сделали нападение на его хутор и нанесли тяжкие оскорбления членам его семьи, попавшим им в руки.

Единодушный отпор казачества грозил опрокинуть все планы Евдокимова. Приходилось сражаться уже не с черкесами, а со своими же казаками. Сверх того, такой оборот дела, конечно, скомпрометировал бы все планы в глазах Императора. Тогда Евдокимов пошел на уступки, требовавшие большего самопожертвования и находчивости, чем всякие сражения. Он немедленно отменил уже назначенное переселение, увел войска и в личных объяснениях с казаками выставил дело в таком виде, что это вышло простое недоразумение. Казаки давно просили дать станицам право выселять своих порочных членов. Евдокимов будто бы и хотел исполнить их желание и заселить такими людьми Закубанье... Он быстро составил новые правила переселения, не трогая целых полков и станиц, а выселяя только несколькими семьями, с большими пособиями от казны и привлекая к делу не только прикубанских, а даже донских и терских. Казаки успокоились, и среди них нашлось достаточно для Евдокимова народа, выселяемого по приговору общества или добровольно решившего попытать счастья за Кубанью. А для того, чтобы у Императора не являлось и тени сомнения в целесообразности общего плана переселения, Евдокимов в личном

разговоре с Александром Вторым оправдывал казаков и обвинял самого себя в неудачно принятой первой мере, хотя в действительности виноват был не он, а Филипсон.

Вообще, Евдокимов готов был сделать все, не шадя ни себя, ни других, лишь бы Западный Кавказ был покорен. Что касается переселенцев, он делал для них всевозможные льготы. Для них войсками заранее устраивались хаты и сараи, вновь образованное Кубанское войско назначило им большие пособия, даже на постройку церквей, от казны им выдавалось продовольствие в течение трех или пяти лет (не помню хорошо). Со всем этим дело пошло гладко.

Оставалась только другая опасность: чтобы Император не разжалобился участью черкесов и не отменил поголовного их изгнания. В этих видах проект выселения ставил перед черкесами не требование уходить из России, а предоставлял каждому на выбор: или выселяться на так называемую «плоскость», то есть низменные прикубанские земли близ Майкопа, или уходить в Турцию.

Но могла ли эта плоскость вместить всех черкесов, если бы они пожелали остаться? На этой территории могло уместиться тысяч сто народа, при наделах весьма недостаточных.

И вот начали сочинять официальную статистику, до бесстыдства уменьшавшую число черкесов во всех их племенах.

Я, к сожалению, не могу теперь на память называть цифры, но они вралы, в пять или десять раз уменьшая население гор. Цифры эти были опровергнуты через два или три года самим же официальным подсчетом выселяющихся, но они и были нужны только на минуто, чтобы обмануть петербургские высшие сферы и самого Императора.

Эта статистика имела, однако, свою слабую сторону, так как малочисленность горцев могла рождать мысль о том, что они и оставаясь на местах не представляют большой опасности. Поэтому нужно было убедить Императора в их непримиримости в отношении России. Этого Евдокимов лично достиг в 1861 году, уже без участия князя Барятинского, уехавшего на излечение за границу.

В 1861 году Император Александр Второй прибыл на Северный Кавказ отчасти вообще для обозрения этого края, главнейшим образом же для окончательного решения черкесского вопроса, который Евдокимов, не дожидаясь окончательных приказов, фактически решал с лихорадочной быстротой. Ввиду ожидаемого приезда Императо-

ра он придумал такую хитрость. Среди черкесов у него было множество «кунаков», приятелей, и он стал собирать их у себя и вел такие речи, что сам по себе он любит черкесов и вовсе не желает их выселения, а если действует против них, то только по приказанию князя Барятинского; но вот теперь едет сам Император и хочет лично говорить с черкесскими депутатами; это человек редкой доброты, желающий сделать счастливыми все народы; горцы могут высказать ему все свои пожелания с полной уверенностью, что он их удовлетворит; он, Евдокимов, от души советует им не упустить редкого благоприятного случая.

Приятели Евдокимова, увлеченные такими светлыми мечтами, рассеялись по горам, всюду распространяя внушенную им идею. Горцы, мало смыслящие в политике, легко вдалились в обман. В сентябре 1861 года в наш отряд, стоявший на реке Нижний Фарс, прибыл Император и собрались депутаты от шапсугов, натухайцев, убыхов и других племен. На аудиенции они с чистым сердцем изложили свои требования. Они заявили, что желают уничтожения на их землях русских укреплений и вывода войск; русских поселений на их землях также не должно быть; равным образом у них не должно быть никакой русской администрации; при соблюдении этих условий они готовы признать верховную власть русского царя и жить мирно...

Можно себе представить эффект таких требований, каких не мог бы предоставить России самый победоносный неприятель. Император убедился, что с черкесами невозможно никакое соглашение, и тут же, в сентябре, утвердил все планы Евдокимова.

И вот они с удвоенной энергией стали приводиться к дальнейшему исполнению.

Должно заметить, что горцы сначала надеялись на заступничество Европы и Турции. Они послали туда своих депутатов. Я помню, как возвратился натухайский князь Костанук, ездивший, кажется, в Англию. С ним была большая свита. Весь его табор расположился на берегу реки Цемеса, так что из Новороссийска был очень хорошо виден. Из наших знакомых у Костанука бывал доктор Дорошевич, которого вызвали по случаю болезни кого-то из приближенных князя. Но нерадостны

были вести, привозимые депутатами. Никакой помощи они не нашли. Только Турция согласилась принять переселенцев, о чем, впрочем, усиленно хлопотало и само наше правительство. Нажимая на черкесов и подгоняя их все ближе к берегу, наши, понятно, желали, чтобы на берегу было возможно более судов для их погрузки и чтобы Турция возможно шире открыла для них свои двери. Горцев всячески побуждали скорее уходить, старались возбудить в них самостоятельное движение к переселению. С этой целью Евдокимов даже испросил ассигновку ста тысяч рублей для пособия добровольно выселяющимся семьям. Конечно, такой ничтожной суммы могло хватить лишь на самое ничтожное количество народа, но Евдокимову нужно было только пустить слух о пособиях, чтобы это побудило других поскорее сниматься с места в надежде на получение казенных денег.

Однако главным средством воздействия оставалось чистое насилие. Как я упоминал, черкесы сначала защищались, соединялись в союзы, дрались не на живот, а на смерть. Но их, конечно, всюду разбивали, и мало-помалу горцы пали духом, перестали даже защищаться.

Русские отряды сплошной цепью оттесняли их и в очищенной полосе воздвигали станицы с хатами и сараями. За ними следом являлись переселенцы-казанки и поселялись в заготовленных станицах, окончательно доделывая постройки.

Черкесы, когда уже совсем растерялись и пали духом, в большинстве пассивно смотрели на совершающееся, не сопротивляясь, но и не уходя. Не сразу можно было подняться, не сразу можно было даже сообразить, что делать, куда уходить. Но размышлять долго им не давали. Во все районы посылали небольшие команды, и эти в свою очередь разбивались на группы по несколько человек. Эти группки рассеивались по всей округе, разыскивая, нет ли где аулов, или хоть отдельных саклей, или хоть простых шалашей, в которых укрывались разогнанные черкесы. Все эти аулы, сакли, шалаши сжигались дотла, имущество уничтожалось или разграблялось, скот захватывался, жители разгонялись — мужики, женщины, дети — куда глаза глядят. В ужасе они разбегались, прятались по лесам, укрывались в еще не разграблен-

ных аулах. Но истребительная гроза надвигалась далее и далее, наступала их и в новых убежищах.

Обездоленные толпы, все более возрастая в числе, бежали дальше и дальше на запад, а немолчаливая метла выметала их также дальше и дальше, перебрасывала наконец через кавказский хребет и сметала в огромные кучи на берегах Черного моря.

Отсюда все еще оставшиеся в живых нагружались на пароходы и простые кочермы и выбрасывались в Турцию. Это пребывание на берегу было не менее ужасно, потому что пароходов и кочерм было мало.

Переселявшихся за море было свыше полумиллиона. Нелегко можно найти перевозочные средства для такой массы народа, и злополучные изгнанники по целым месяцам ждали на берегу своей очереди. Да о заготовке перевозочных средств никто и не подумал своевременно.

Турецкое правительство было застигнуто врасплох такой массой эмигрантов. А почему наше ограничилось такими ничтожными мерами, как зафрахтовка трех пароходов Русского общества, да в крайнем случае перевозило на каком-то военном судне, — я не знаю. Вероятно, оно было обмануто фальшивой статистикой и тоже не ждало многих сотен тысяч душ переселенцев. К услугам эмиграции явились частные предприниматели, которые брали с горцев большие деньги и нагружали их на свои кочермы и баркасы, как сельдей в бочку. Они умирали там как мухи — от тифа и других болезней.

Вся эта дикая травля — не умею найти другого слова — тянулась около четырех лет, достигши своего апогея в 1863 году. Бедствия черкесов не поддаются описанию.

Убегая от преследований, они скитались без крова и пищи, зимой — при двадцатиградусном морозе. Зимы, как нарочно, были необычайно холодные.

Среди черкесов стали развиваться опустошительные болезни, особенно тиф. Семьи разрознились, отцы и матери растеривали детей. Умирали под открытым небом и в норах.

Рассказывали, что наши наткались на случаи употребления несчастными человеческого мяса.

Я говорю об ужасах изгнания горцев как очевидец. Когда по-нуждения к их выселению дока-



тились и до Новороссийска, все горы, окружавшие Цемесскую долину и бухту, задымилась столбами дыма от выжигаемых аулов, а ночью всюду сверкали иллюминацией пожаров. Мы даже не подозревали, что наши горы были так густо заселены. Дым подымался и огонь сверкал чуть не в каждом ущелье. Эта зловещая картина стояла перед нашими глазами, пожалуй, так в течение месяца.

Потом огонь с аулов перекинулся и на леса, и в течение многих лет в великольном лесу по Цемесу можно было видеть там и сям громадные черные стволы лесных великанов. Я был и лично на лесном пожаре по Цемесу.

В это время загнанных, растерявшихся, дошедших до полной апатии черкесов уже не боялись, и меня как-то взяли в лес горевший совсем близко от Новороссийска. Опасности от огня не было, потому что в любую минуту можно было выйти на долину, да и пожар шел больше внизу по валежнику.

Через год-два мне пришлось видеть и остатки выжженных аулов. Один из них находился в том месте, где мы основали наш хутор.

Сколько горцев погибло за это время от всяких лишений, голода, холода и болезней — это известно одному Господу. Подсчитывать трупы по лесам и всяким трющобам было и некому, да и невозможно. Даже на берегу, где горцы находились уже под нашим надзором, массы умирающих закапывали поспешно и без внимательного подсчета. Думали только о том, чтобы трупы тифозных не распространили заразы. Отец показывал мне впоследствии места, где их зарывали (по ту сторону бухты), говорил, что трупы засыпались негашеной известью, что их было множество, но точного числа никому не называл. Не попадалось мне данных по этому предмету и в литературе.

Отдельные отрывочные известия говорят, что в Турции в разных местах скопления эмигрантов, например пятидесяти тысяч их, умирало человек по двести в день.

Не знаю, было ли лучше у нас. Переселяющиеся погружались в Турцию по всему Черноморскому побережью, но главным пунктом выселения был Новороссийск.

Из пятисот тысяч эмигрантов, насчитываемых официальной статистикой, через Новороссийск прошло сто тысяч.

Нужно заметить, что некоторое число горцев успели все-таки скрыться в совершенно недоступных горных трющобах. Их, конечно, было немного, однако время от времени в наших местах там и сям попадался какой-нибудь черкес, озирающийся как дикий зверь и прошмыгивающий через лесную поляну в кашу. Я знаю один случай, когда казаки наткнулись, уже много лет спустя, на целый табар черкесов и атаковали их, причем один казак был убит (или ранен, не помню), а черкесы разбежались.

В 80-х годах несколько сот горцев, прятаясь двадцать лет, спустились к морю и основали два аула — один Песушко, а другой не помню. Их не тронули и позволили жить спокойно.

**«Мы решили изгнать их, очевидно, в виду затруднений или неумения устроить дело так, чтобы, продолжая по прежнему жить в горах, вдоль берега Черного моря, они могли стать полезными, или, по крайней мере, безвредными для государства. Неспособность разрешить эту задачу, или нежелание потрудиться над нею, и составляли именно то пребывающее в нас самих внутреннее зло, которое должно было конкретно выразиться цепью неудач, встреченных при попытках заселения края. Неудачи эти хорошо известны... полное бездорожье и безлюдье на пространстве не менее 5.000 квадратных верст, — вот что оставляли мы за собою в этой местности, отпраздновав окончание полувековой борьбы...»**

Частью по службе, частью из любопытства, почти что каждый день приезжали мы из своего лагеря посмотреть на этих несчастных. Говорю, именно из любопытства, так как слово «участие» было бы здесь совсем неуместно: несмотря на весь ужас возмущающей душу картины, чем мог облегчить положение страдальцев какой-нибудь маленький штабной чин? Изгнание их было решено в качестве государственной необходимости; в перевозке на турецких фелюгах усмотрен самый удобный или даже единственно возможный способ исполнения.

И действительно, нужны были особенно крепкие нервы и немалая доля самообладания, чтобы в бессилии своем оставаться спокойным зрителем того, что совершалось на этом берегу. Верстах в двух-трех от впадения речки в море, по течению ее, на песке и гольшах, наносимых половодьем, неделями оставались партии бесприютных, лишенных крова и очага. По несколько тысяч душ помещались одновременно на небольшом пространстве, отведенном им для стоянки и наблюдавшемся военными постами. Дни и ночи проводили они то под палящими лучами солнца, то под дождем и ветром; ни дерева, ни другой тени вблизи; остатков сухой растительности, в районе дозволенных им передвижений, едва хватало на то, чтобы изредка изжарить кусок мяса или сварить какую-нибудь болтушку (подобие супа)... Атмосфера заражена была от накопления на небольшом пространстве животных и всяких других отбросов.

Так совершался разгром, разгром полный и бесповоротный — того, что строилось и крепко веками... И не единицами, не десятками, а сотнями и тысячами приходилось считать погибающих в этом катаклизме. Болезни и всякие невзгоды унесли многих еще до посадки на суда; скольких не досчитались при посадке на турецкий берег, после 15 и более дней плавания в самых ужасных условиях — это никогда не было выяснено; да и зачем? Очень многим, наконец, преимущественно в младшем возрасте, пришлось лечь испугательными жертвами приспособления к совершенно новым условиям жизни в суровой природе возвышенных малоазийских плоскогорий.

...Все это, т.е. бедствия, день за день переживаемые переселенцами, и перспектива предстоящих им впереди, было очевидно и понятно для нас, ближайших свидетелей погрома. Сердце сжималось и болело. Но, повторяю опять, в чем должна была здесь проявиться наша деятельность, в чем могли выразиться наше участие, наша помощь? Время от времени докладывали мы, что следовало бы, по крайней мере, более обеспечить переселенцев топливом, солью и другими предметами насущной потребности, или расширить район дозволенных им передвижений до первых предгорий, не лишенных древесной растительности. Генерал наш сначала благосклонно выслушивал доклады, и, кажется, делал какие-то попытки с своей стороны; но потом стал обнаруживать явное нетерпение, резко отвечая, что все это не наше дело, что он только исполнитель; распоряжения же исходят от высшего начальства, которое знает, что делает, неуклонно преследуя свой план, внушенный высшими соображениями государственной необходимости. Государственная необходимость — громкое, страшное слово! — Сколько на свете дел, совсем не вяжущихся с христианскою моралью, совершалось под его прикрытием в исторической жизни народов, от времен отдаленнейших до событий нам современных».

Староставский А. В горах. Из давних воспоминаний // Вестник Европы. 1896. № 3. С. 198-199, 202, 204-205, 207-208.

В Новороссийске горцы постоянно скапливались по десять-двадцать тысяч: одни приходили, другие уезжали, но огромные таборы стояли постоянно.

Это были почти сплошь грязные оборванцы, напоминавшие цыган, с той разницей, что имели истощенный вид. Среди них было множество больных. В глаза бросалось огромное количество сирот. Жили черкесы отчасти близ самого укрепления, в развалинах старого Новороссийска, отчасти на болотном берегу Цемеса, отчасти по ту сторону бухты. Наиболее удобным для них помещением были развалины серебряковского дома, в котором половина стен еще стояла твердо. Тут постоянно ютилось множество черкесов почти под открытым небом, но в защите от ветра. В других местах было хуже. Там они сооружали из жердей жалкие шалаши, покрытые чем придется. Многие жили на тех же арбах, на которых приехали. Надолго никто не рассчитывал устраиваться, все мечтали не нынче завтра погрузиться на пароход или кочерму.

В ожидании главное их занятие составляла распродажа своего скота и домашнего скарба — ковров, посуды, сундуков, платья и т.д.. Все это они приносили и пригоняли на сатовку, которая постоянно была очень оживленна. Новороссийские жители ходили также и в таборы высматривать и покупать, что понравится. Распродажа шла в высшей степени дешево, да и, правду сказать, товар был таков, что дорого не за что было и платить.

Лошади попадались очень хорошие, но главным образом для верховой езды. Вещей же хороших почти не было, все больше деревянные, вроде низких столиков с углубленной тарел-

кообразной доской, на которой черкесы месят тесто для своих лепешек. Фаянсовой восточной посуды было мало. Чаше попадались медные кувшины, железные котелки и т.п. Изредка попадались хорошие кинжалы. Черкесские скамеечки — очень низенькие, сундуки плохой работы, ковры тоже плохие. Вообще, товар весьма второго и третьего сорта, и в довершение черкесы, копя деньги для Турции, не принимали бумажек, а только серебро. Золота тогда не было и у самих новороссийцев.

Болезни и голод у черкесов так бросались в глаза жителям города, что многие стали носить им пищу и разное платье, чтобы сколько-нибудь защитить женщин и детей от холода. Моя мама, вообще очень жалостливая, едва ли не первая выступила с помощью оборванным полуголодным черкешенкам и их детям. Многие новороссийские дамы делали то же самое и наконец соединились для этого в благотворительное общество, хотя без всякого формализма, без всякого устава. Посещая таборы, они замечали огромное количество сиротенных детей, родители которых умерли или неизвестно где затерялись. Этих сирот многие стали брать себе.

Говорят, и простые казаки, при всей своей суровости, бивали тронуты жалкой участью брошенных детей и также принимали их в свои семьи.

Относительно казачьих приемшей мне не пришлось лично ничего наблюдать. Но в новороссийском обществе я видел их несколько. Жизнь одного из них сложилась так, как он не мог бы и мечтать в своих горах. Его принял к себе доктор и винодел Михаил Федотович Пенчул. Он окрестил своего приемыша, дал ему свою фамилию, отправил на свой хутор и при-

учил по хозяйству.

Мальчик этот, Сергей, оказался умен и очень хорошего нрава. Когда он подрос, Михаил Федотович отправил его в Магарачское училище виноделия (в Крыму), и по окончании курса Сергей стал помощником своего крестного отца на винограднике, а через несколько времени старый Пенчул дал ему возможность завести и свой виноградник тут же рядом, в той же долине Сус-Хабля. Впоследствии Сергей Михайлович Пенчул женился, завел в городе Новороссийске торговлю, был избираем на общественные должности и стал наконец новороссийским городским головой. Он был почти богат и пользовался общим уважением. Между прочим, Сергей Пенчул был, да, конечно, и теперь остался, искренне и глубоко религиозным христианином.

Взял к себе одного черкешенка и Рудковские. Мальчишка был так себе, ни особенно хороши, ни особенно плохи, и, по всей вероятности, вышел обычным новороссийским мещанином.

Моя мама приняла к себе двух черкешенских сирот — девочку Кафезу и мальчика Бжиза. Обоих она, конечно, крестила. Кафеза, когда подросла, сложилась в чрезвычайно красивую девушку. Кроткая, скромная, покорная, она впоследствии вышла замуж за одного поселившегося в Новороссийске солдата, и, насколько помнится, ее скромная доля сложилась счастливо.

Но Бжиз, Алексей, как назвали его при крещении, оказался совершенно невозможной личностью. Когда его взяли к нам, он был уже не маленький, лет четырнадцати. Злой, упрямый, он презирал труд, не чувствовал никакой благодарности к людям,

спасшим его от голодной смерти, напротив, он стыдился, что его заставляют работать, и относился к моему отцу и матери с какой-то враждебностью. Его идеалом было выйти в офицеры, и по своей незрелости он не мог понять, какую тяжелую школу науки и дисциплины ему бы потребовалось для этого пройти. Он был вдобавок и совсем неумен, хотя по-русски выучился хорошо говорить. Вечно угрюмый и озлобленный, он внушал невольный страх, и держать его в семье было очень тяжело. Кончилось дело тем, что он обокрал нас, попал в тюрьму и затем исчез с нашего горизонта. Никто не знал, что с ним сделалось. Признаться, мне трудно судить и об Алексее. Он никому не открывал своей души. Может быть, он ненавидел русских вообще, как губителей своей родины, и был бы в своей среде гораздо лучше, чем среди русских. Во всяком случае, это была натура дикая. Сама наружность его выражала это: ястребиный, изогнутый нос, пронзительные глаза, лицо с выражением хищной птицы. Если бы он остался в горах, то, вероятно, вышел бы абреком и на этой почве мог бы даже прославиться между своими земляками.

А ненавидеть русских черкесы, конечно, имеют полное право. Таких истреблений целого народа, как на Западном Кавказе, история назовет немного.

Трудно сказать, как велико было все число горцев от Черного моря до Лабы, но думаю, что его должно считать до миллиона. Из них только сто тысяч уцелели у нас, переселившись на плоскость.

Свыше пятисот тысяч ушли в Турцию, причем огромное количество их перемерло на судах и в самой Турции.

Погибших — во время изгнания, у нас в боях, от голода, болезни и лишений, еще не достигши берега и на берегу, в ожидании погрузки, — я думаю, было во всяком случае несколько сот тысяч...

Таким образом, огромный, богатый, чарующий красотой край был радикально «очищен» от населения, жившего там в течение тысячелетий...

Горцы не могли не чувствовать к нам жгучей ненависти, и, погружаясь на суда, огромные толпы их пели какие-то гимны, в которых проклинали русских и заклинали покидаемую родную землю не давать им урожая и никаких плодов.

Но великая человеческая трагедия совершилась, а равнодушная природа продолжала сиять своей вечной красотою для русских, как прежде сияла для черкесов, не ведая ни жалости, ни гнева».

Смолин М. Б. Очерки имперского пути. Неизвестные русские консерваторы второй половины XIX — первой половины XX века. М.: Журнал «Москван», 2000.

Цит. no: <http://khmelev.livejournal.com/81944.html>

Иллюстрации из книги Езбек Б. Черкесы (адыги) в рисунках европейских художников XVII - XIX веков. Майкоп, 2009.

Материал подготовил  
Самир ХОТКО.